

ственная земля которого отошла за долги помещику, замахивается на обидчика топором. Одиночка, доведенный до отчаяния, он объявляет войну всем. Татя поджигает дом помещика, а из тюрьмы выходит почти калекой. Сатхе кончает рассказ маратхской пословицей: «Если угли долго не гаснут, они могут воспламениться вновь».

Политическая независимость вызвала к жизни в Индии неисчислимое множество новых проблем, тесно переплетенных между собой, неотложных и насыщенных динамитом до такой степени, что они становились историей, едва переставая быть действительностью. Крестьянский вопрос в аграрной по преимуществу Индии — один из самых важных и наиболее трудноразрешимых. Он не решен и сегодня. Можно много спорить о разрешении этого и других вопросов, но ясно одно — выход в том, чтобы направлять стихийные действия в русло подлинно революционных устремлений.

Несколько слов о качестве перевода. Наши переводы с восточных языков еще очень юны, а переводы с маратхского не простились еще с детством. Тем большая ответственность выпадает на долю редакторов, которые должны помочь сделать восточную книгу фактом русского языка.

Восточная литература воспринимается нами вообще трудней, чем западная, ибо столетиями мы были ориентированы на Запад. Наш читатель может прочитать андайковского «Кентавра», на каждую минуту заглядывая в мифологический словарь; восточная книга такой же мифологической насыщенности неизбежно потребует увесистого комментария. Нам часто непонятны образы, построенные на непривычных, незнакомых реалиях быта.

Не раз уже писали о пристрастии переводчиков восточных литератур к словам чужого языка. Не исключение и сборник «Заморская курица» — в переводе оставлено так много индийских слов, что они затрудняют чтение. Я думаю, можно спорить, следовало ли перевести слово «гандхарва» — в индийской мифологии это певица, услаждающая своим искусством слух богов, — или переводчики поступили правильно, написав его русскими буквами. Но вот пример бесспорный: слово «маму» по-русски значит просто «дядя». Почему же было не перевести его в рассказе «Одна ана»? Совершенно недопустимы фразы-уродцы, вроде «А стукать лбом перед ослиами не собираюсь» (стр. 112). Загадочная фраза: «У них нет баланса на мой счет?» (стр. 70) не заключает в себе кодированного послания. По-русски она должна звучать так — обретая при этом смысл: «На моем счету не осталось денег?»

Огрехи перевода особенно неприятны, когда на суд нашего читателя выносятся первый, по существу, перевод с нового для него языка.

М. САЛГАНИК

ИЗДАНО
ЗА РУБЕЖОМ

ЖИВОТНЫЕ РАЗУМНЫЕ И УТРАТИВШИЕ РАЗУМ

Robert Merle. Un animal doué
de raison. Roman, Paris, Gallimard,
1967.

Писать о серьезном забавно и увлекательно — не новость для французской прозы. И в последнем романе Робера Мерля «Разумное животное» (критика определила его как политико-фантастический) слышны отголоски философских повестей Вольтера, вылизывающих ядро человеческой природы из нескончаемых скорлупок необычайных перипетий, язвительное эхо социальной сатиры Монтескье. Однако наш «точный» век диктует, разумеется, свои законы: фантастика из сказочной превращается в строго научную, ситуации из невероятных — во вполне, скажем, даже слишком вероятные... И вместо простака ирокеза или экзотического персидского вельможи, утративших острающую дальность, глядит на человечество осуждающим взглядом «разумное животное» — дельфин.

Герой романа Мерля американский ученый Генри Севилья работает с дельфинами, как работает с ними знаменитый Лилли, доказывающий в своей книге, что дельфинов можно научить говорить. Неизвестно, чего добьется Лилли и другие дельфинологи к 1971 году, но Севилья удается к этому времени обучить английскому Ивана (сам дельфин произносит свое имя как Фа) и его супругу Би. На пресс-конференции первые говорящие дельфины ошеломляют присутствующих не только тем, что они понимают вопросы и отвечают на них вполне связно, но и тем, что эти животные мыслят и чувствуют, как человек.

Ситуация фантастическая. Но и почти не фантастическая. В том безостановочном потоке открытий и свершений, в который XX век вовлек человечество, дельфин, общинающийся с корреспондентами сообщениями о сравнительных достоинствах кинозвезд, кажется почти столь же реальным будущим, что и космонавт, высаживающийся на Марсе. Ощущение естественности, «настоящности» происходящего в романе усиливается достоверностью картины американского общества, которое за несколько лет, отделяющих нас от событий романа, ничуть не изменилось.

Соперничают, подсаживая друг друга, — вспомним недавние события в Греции, —

СРЕДИ КНИГ

разведки—«ястребы» и «голуби», на поверку оказывающиеся птицами ничуть не менее хищными. От глаз и ушей (магнитофонов) невозможно укрыться даже в спальне загородного коттеджа. Задают стандартные вопросы корреспонденты. Скучают стареющие дамы, исповедующие долларовой снобизм, пуританские добродетели и фрейдизм, приспособленный для умственного уровня недоразвитого подростка. Бескорыстно и самозабвенно работают ученые, и замечательная молодежь готова пожертвовать всем в борьбе против несправедливой войны, которую ведут Соединенные Штаты, завязшие во Вьетнаме. А ханжеская речь президента Альбера Монро Смита— бывшего сотрудника Кеннеди, не посмеявшегося сказать в свое время о том, что ему известно о заговоре, так как это могло бы повредить его политической карьере,— речь, которая транслируется по телевидению 6 января 1973 года, на следующий день после предъявления ультиматума Китаю, звучит набором знакомых фраз из множества деклараций, сделанных президентом Джонсоном: «Народ Америки всегда был народом миролюбивым. Он и сегодня верен этой традиции и не стремится в Азии ни к территориальным захватам, ни к обогащению. Он полон, однако, решимости защитить, с божьей помощью, свободу и демократию повсюду, где им угрожает коммунистическая агрессия».

Подобно всем великим осуществлениям науки, успех опытов Севильи, проходящих по счетным книгам государственного учреждения, субсидирующего его лабораторию, под условным названием «проект Логос», неотделим от политических и нравственных последствий.

Разве не привело расщепление атомного ядра к Хиросиме? Разве пересадка сердца не заставила взглянуть по-новому на проблему целостности личности? Разве тот факт, что сердце «цветного» гонит кровь по сосудам «белого» не вынудит даже людей, зараженных расистскими предрассудками, заново обдумать утверждение о физической несовместимости «разнокожих»?

Открытием Севильи завладевает Пентагон. Говорящих дельфинов отбирают у ученого и используют для военной провокации.

Только Фа и Би — свидетели и невольные участники провокации — способны сорвать военную авантюру «ястребов», осуществляемую «группой Б». Поэтому за ними и за Севильей идет охота. Представитель соперничающей разведки («группа А»), полагающей, что для войны время еще не настало, сначала защищает Севилью, но потом, когда ему кажется, что игра «голубей» проиграна, отступает.

Севилья с помощью дельфинов бежит на Кубу. Если они успеют туда добраться до 13 января 1973 года, когда истекает срок ультиматума, мир будет спасен от гибели, от атомной катастрофы. «Человечность дельфинов» спасает людей. Так думает в финале романа Севилья.

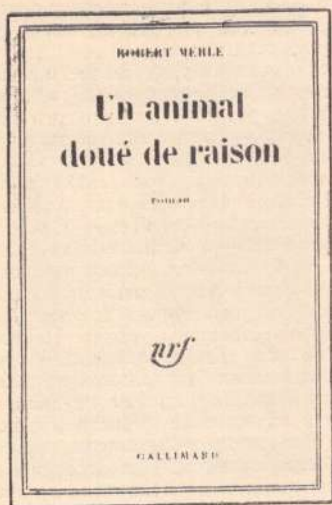
Севилья, как и многие ученые сегодня,— наивный идеалист. Ему кажется, что можно

заниматься наукой, чистой наукой, сохраняя лояльность по отношению к государству и предоставляя другим — об этих других он из чувства брезгливости предпочитает не думать — заниматься грязным делом — политикой. И только когда у него самым подлым образом похищают Фа и Би с помощью сотрудника его же лаборатории, оказавшегося агентом одной (а может, и двух разных) из разведок США, только тогда, когда он понимает, что «научил животное говорить, а человечество не извлечет из этого ничего, кроме нового оружия самоуничижения», только тогда он принимает радикализм Майкла, своего ученика, отсиживающего в Синг-Синге за отказ явиться на призывной участок. Гражданскому возмужанию Севильи способствует и все более оголтелая милитаризация страны и мужественный пример молодого ученого.

В романе Веркора «Люди или животные?» журналист Дуглас Темпльмор ставил общество перед необходимостью определить «что есть человек?». Решение этого вопроса по отношению к тропи для Темпльмора не было отвлеченной научной проблемой, ибо если не считать людьми тропи, стоящих на крайне низком уровне развития, то почему бы расстам не поставить под сомнение принадлежность к человечеству пигмеев, цейлонских вевов или тасманцев, чья черепная коробка развита меньше, чем у ископаемого кроманьонского человека. И почему бы не использовать «низшие расы» как рабочий скот. Полемически заостряя проблему, утверждая, что «как родовое существо какой-нибудь каннибал равен Толстому», Веркор привлекал внимание к опасности принять высоту технической цивилизации за обоснование права развитых народов господствовать над отсталыми.

Вопрос о критерии человечности ставится и в романе Мерля. «Проблема дельфина» состоит в этическом родстве с «проблемой тропи». Не случайно именно расисты в романе с яростью встают против обучения дельфинов: «Мы проявили безумное легкомыслие,— заявляет один из них перед ревущей от восторга толпой в штате Алабама,— научив читать наших негров. Хватит нам неприятностей с ними, нечего обучать на свою голову еще и дельфинов. Пусть дельфины остаются, где положено, в море, а мы будем, где нам положено, так лучше для всех... Что касается меня, то как всякий истинный американец я люблю животных вообще и моего пса Роки в особенности, но я считаю, что роль Роки состоит в том, чтоб следовать за мной по пятам, когда я прогуливаюсь, и лежать у моих ног, когда я сижу, а вовсе не в том, чтоб дискутировать со мной о преимуществах так называемой интеграции... Увидите, эти дельфины скоро потребуют от нас гражданских прав».

Севилья с самого начала рассматривает дельфинов, с которыми разговаривает, как себе подобных. Ему отвратительно, что ими пользуются как орудием. Однако до подлинной «человечности» Фа и Би поднимаются после «грехопадения»: став невольными



убийцами, они подвергают нравственной переоценке человечество, решая для себя, в чем добро и в чем зло. Именно нравственное самосознание и делает дельфинов в глазах Севильи (и читателя) «человечнее» мистера Адамса — одного из агентов разведки США, — душа которого «взята в скобки», а совесть «вручена начальству», так что все для него решается «где-то, наверху»: извращенность, «запрограммированность» Адамса исключает личный выбор — если прикажут, он пожмет руку, если прикажут — пу- стит автоматную очередь.

Мера человечности в разуме, проверка нравственным чувством. Высшее качество человека — служение человечеству, сознательное, личное, проникнутое уважением к себе подобным. «Разумные животные» продолжают и развивают таким образом дорогую Роберу Мерлю идею о необходимости противоборства социальному строю, проникнутому духом расового и социального неравенства и превращающему существо, одаренное разумом и совестью, в бездушный придаток чудовищной машины, сеющей смерть.

Л. З.

ВЛАДИСЛАВ ВАНЧУРА, КАКИМ ОН БЫЛ

Ludmila Vančurová. Dvacet šest krásných let. Praha, Československý spisovatel, 1967.

Мы так мало, так обидно мало о нем знаем. Старое издание романа «Пекарь Ян Маргоуль» 1928 года (в весьма несовершенном переводе), однотомник 1964 года (куда вошли: новый перевод «Пекаря Яна Маргоуля», повесть «Причуды

лета», несколько рассказов и фрагмент из «Картин из истории чешского народа») да детская сказочка «Кубула и Куба Кубула» (1965) — вот и все, что у нас издавалось.

А между тем Ванчур оставил глубокий след в современной культуре Чехословакии: в литературе, театре, кино, теории искусства и литературной критике.

Самобытный художник, он шел путем крутым и трудным. Он мечтал об искусстве больших мыслей, острых драматических конфликтов, глубокого философского осмысления действительности — о монументальной эпике, которая универсально отразила бы современную эпоху.

И он создавал такое искусство, искал новые изобразительные средства, неистово экспериментировал со словом, стремясь придать ему предельную смысловую наполненность и эмоциональное напряжение.

Читать его трудно: мешает сложность языковых конструкций и метафорическая перенасыщенность. Но нельзя не почувствовать яркой индивидуальности писателя, своеобразия его творческого почерка. И кто знает: не будь этого яростного экспериментирования в произведениях двадцатых годов (сборник «Течение Амазонки», романы «Поля пахоты и войны», «Страшный суд» и др.), может быть, не было бы и ясной, чистой прозы лет тридцатых («Маркета Лазарова», «Конец старых времен», «Три реки»), которая нашла свое завершение в действительно монументальном эпическом полотне «Картины из истории чешского народа».

Художник-новатор, обогативший литературу новым типом исторической прозы, открывший драгоценные возможности, заложенные в образном слове, писатель-коммунист, убежденный, что «только коммунизм может создать новый стиль современности», и боровшийся за осуществление этой цели: человек огромной энергии и организаторского таланта, который в тяжкие годы оккупации возглавил боевое антифашистское объединение чешской интеллигенции и шел на смерть несломленным, не утратившим веры в победу. Таков был Владислав Ванчур.

Фашисты великолепно знали, кого они уничтожили в вечерние часы 1 июня 1942 года.

Знает это и чешский народ, присвоивший ему посмертно звание Народного художника Чехословацкой республики.

Книга воспоминаний жены писателя Людмилы Ванчуровой «Двадцать шесть счастливых лет» многое помогает понять в его богато одаренной и сложной натуре, уловить истоки его юношеского бунтарства, уяснить обстановку, в какой складывалось его самобытное творчество. Но, может быть, самое главное — жене и другу писателя удалось воссоздать удивительную целостность духовного облика Ванчуры, строгую взыскательность к себе как к художнику, комму-

СРЕДИ КНИГ